

## Эпилог

## ДУХ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Дух русской революции — это дух максимализма, который часто называют корнем зла, поставившим крест на всех попытках провести постепенное переустройство общества. Его вдохновители и подстрекатели известны. Их отождествляют с большевизмом. И наоборот, большевизм описывают как *reductio ad absurdum* духа русской революции и русской интеллигенции.

Но существовал и другой максимализм: максимализм русской контрреволюции, «большевизм правых». Он был не менее требовательным, не менее опьяненным своей заветной мечтой, но смотрел в прошлое, а не в будущее.

Таковы два лица максимализма русской жизни и русской истории.

Похоже, странам, сильно отставшим в развитии, где нерешенные проблемы копились веками, природа, которая, судя по всему, не признает перепрыгивания через исторические этапы, оставляет только один выход: отчаянные «сальто-мортале».

Непреодолимое отвращение к прошлому заставляет людей разрубать надвое гордые узлы политических и экономических проблем даже тогда, когда их можно просто развязать.

Это наша сила и наша слабость. Сила — потому, что в области духа, в области чистой мысли нет места для компромисса. Тронуть умы и души можно лишь идеей, которая бесстрашно марширует к своему логическому заключению. А слабость — потому, что для возведения здания одного проекта мало; набросок архитектора — это ничто без знания окружающей среды, почвы, свойств материалов, доступной рабочей силы и общей суммы, в которую обойдется строительство.

Духовная история русской интеллигенции изобилует непримиримыми противоречиями. Интеллигенцию часто упрекали в том, что она порывала с древними историческими традициями и не имела «духовного отечества». Ее обвиняли в самовлюбленности и самоуверенности, граничащей с безумной гордыней.

В этом обвинении есть доля истины. Русская интеллигенция пережила чрезвычайно сильный и полный духовный разрыв с

прежним культурным классом. Старая русская культура была культурой дворянства. Когда она вступала в соприкосновение с интеллектуальной жизнью Запада, то откликалась на все ее течения, в том числе самые передовые (которые сильно опережали свое время даже на Западе, не говоря о России). Дворянская Россия породила Пушкина и Лермонтова, Тургенева и Льва Толстого, Александра Герцена и Михаила Бакунина. Именно дворяне и даже титулованные аристократы стали предшественниками революции, декабристами.

Но даже в самые критические моменты дворянство никогда не перерезало нить, которая связывала его авангард с общественным классом, давшим последнему жизнь. Эта хрупкая духовная связь долго делала возможным примирение и во время самых жестоких конфликтов. Появление нового плебейского класса интеллигенции означало решительное разделение «по обе стороны баррикад». Это разделение завершилось периодом революционного народничества.

Социализм стал для народников религией. Но любая религиозная волна во время своего подъема неизбежно становится максималистской. С точки зрения суровой плебейской революционной эстетики Писарева эпикурейская поэзия Пушкина была прекрасной, но лишней. Поскольку героями романов Льва Толстого являлись представители высших классов, последователи Писарева отвергали будущего апостола опрощения.

Для духовных отпрысков старой культуры новые интеллигенты были апостолами чистого разрушения.

Наиболее характерной чертой последних было то, что когда-то называлось «нигилизмом».

Теорию «перманентной революции» создал тоже не русский, а француз, Огюст Бланки. Но только в России она смогла дожить до наших дней. Только в России революционная мысль не соглашалась на что-то меньшее — даже в том случае, если она была упорядочена прозаической экономикой марксистской школы.

На все эти течения падает тень мощной фигуры Михаила Бакунина. Когда он заявлял, что дух разрушения является духом созидания, когда он утверждал, что *организация* революции — это логическое противоречие, потому что она сушит и

убивает саму душу революции, энтузиазм вольного уничтожения старого и вольного принятия нового; когда он призывал людей «доверять вечному Духу, который все разрушает только потому, что содержит в самом себе бессмертные ростки жизни и творчества», в нем говорила одержимость свободой. Свободой с большой буквы, Свободой абсолютной, которая возникает только в абсолютистской стране, полностью ее отрицающей.

В этом отношении абсолютизм русской интеллигенции и русской революции были глубоко национальным явлением. Максимализм интеллигенции являлся плотью от плоти и кровью от крови максимализма народа.

История примитивной народной мысли, долгое время скованной стальными кандалами религиозных форм, история свободной религиозной мысли и сектантства среди простонародья изобилует трагическими примерами такой же «храбрости отчаяния», которую часто проявляла русская интеллигенция.

Люди, простые люди превращали комедию пустякового расхождения с церковью о том, двумя или тремя перстами следует креститься и следует ли писать «Иисус» или «Исус», в героический эпос. Под ледяной коркой бунта русских староверов против реформ Петра Великого кипела ненависть к растущему бремени налогов, вводимых вновь созданным агрессивным государством. В русскую историю была вписана глава об «отступлении» раскольников и массовых поисках «дикой свободы» за защитным барьером непроходимых лесов и болот.

Народное сознание 1870—1880 гг. способствовало созданию секты так называемых ненашистов — стихийных анархистов и индивидуалистов. Эти сектанты называли все основы современной жизни «чуждыми», «не нашими»: семью, государство, школу, суд, налоги, собственность — и отвергали их словом и делом. Они отказывались от всех контактов с миром, даже самых отдаленных и внешних. Какие бы преследования им ни грозили, они считали своим священным долгом постоянное и ежедневное проявление собственной веры, выражавшейся в презрении ко всему «не нашему», пассивное, но упорное неподчинение его требованиям даже в мелочах.

В начале XX в. на Урале возникла новая секта иеговистов. В отличие от ненашистов, иеговисты оказывали государству

активное сопротивление. Для них весь мир делился на два лагеря — иеговистов и сатанистов; это было русским парафразом на тему вечной борьбы между Ормуздом и Ариманом. Все священники государственной церкви, гражданские и военные правительственные чиновники, обладатели земель и денег были сатанистами, а потому их следовало уничтожить. Иеговисты были готовы взорвать все основы современного государства и церкви.

Русские духоборы принесли эту ненасытную жажду духовного мятежа даже в мирную Канаду. Новая секта «Сыновей свободы» противопоставила изумленному канадскому государству максималистский лозунг «все или ничего»: «Либо дайте нам жить так, как велит наше сердце, либо заберите у нас все и оставьте нас голыми на голой земле».

В «земных» вопросах происходило то же самое, что и в «небесных». Не случайно во время мировой войны русские революционеры с таким жаром откликнулись на призыв порвать с войной и удалиться на Авентинский холм Циммервальда и Кинтала; не случайно толстовская идея непротивления злу насилием была доведена в России до своего неумолимого логического завершения. Естественно, в России существовала и ее полная противоположность: терроризм как система, как организованный метод борьбы с тиранией. Моральное отвращение, невероятная ненависть к любому виду насилия выражались в самой крайней форме сопротивления — с револьвером и бомбой. Психология революционного террориста была посвящением, с энтузиазмом принимавшимся ради блага народа, но она была отравлена сознанием того, что политическая необходимость не может быть оправдана с моральной точки зрения: ни человек, ни государство не имеет права отбирать то, что нельзя восстановить — жизнь. Не случайно Россия дала миру трех величайших анархистов: писателя Льва Толстого, философа Петра Кропоткина и политика Михаила Бакунина.

Стоит ли удивляться тому, что русская революция стала выражением всех существующих форм максимализма? Существовал пацифистский максимализм солдата, жаждавшего воткнуть штык в землю и обняться с бывшим врагом. Существовал пролетарский максимализм, требовавший, чтобы его

Советы не имели ничего общего с буржуазией: «Да здравствует уничтожение буржуазии как класса!» Конечно, существовал и националистический максимализм, готовый во что бы то ни стало порвать с Россией, только вчера бывшей «тюрьмой народов». Существовал наивный деревенский максимализм мужика, рвавшего самочинно, не дожидаясь сложной государственной аграрной реформы, разделить помещичьи земли между жителями соседних деревень и хуторов. И каждому из этих «максимализмов» противостоял свой «контрмаксимализм», проявлявшийся по другую сторону баррикад.

Для всей русской истории характерны две тенденции развития. Первая из них — тенденция усиления государственного гнета из-за необходимости повышения обороноспособности страны. Россия, подвергавшаяся миграции и успешным вторжениям орд кочевников с Востока и давлению более цивилизованных и политически организованных народов с Запада, зажатая между цивилизацией и варварством, была вынуждена форсировать развитие государственности несмотря на собственное варварство. Бремя государственной «надстройки» было слишком тяжелым для ее примитивного экономического и социального базиса. Поскольку Русское государство не было результатом органического развития снизу, выражавшегося в укреплении общественных связей внутри самого населения, оно казалось людям сетью, брошенной на страну сверху, и было им настолько чуждо, что фольклорная традиция объясняла возникновение государства «призывом варягов». Более поздняя история сомневается в подобном происхождении российской государственности, но, даже если это всего лишь легенда, она убедительно доказывает древность расхождения интересов русского народа и его государства.

Вторая тенденция — рост количества русских поселений на Восточно-Европейской равнине. В Средние века существовал прямой тракт с Востока на Запад через Сибирь, Среднюю Азию и Россию, но после усиления обороноспособности России путь на Восток ей был заказан.

Историки определяют прошлое России как «историю колонизации». Однако эта колонизация была вызвана не столько

нехваткой земли, сколько давлением со стороны властей. Невыносимый гнет крепостного права заставлял людей двигаться по пути наименьшего сопротивления — на север и восток. Там они находили короткую передышку и могли разогнуть спины, согнутые подневольным трудом. Но государство шаг за шагом следовало за «русскими землепроходцами» как неизбежная черная тень, показывая, что от собственной тени не убежишь. Непреодолимое стремление к свободе заставило обоих добраться до горных кряжей Тибета и Монголии, Великой Китайской стены и берегов Тихого океана. Идти дальше было некуда. Тогда народ наконец обернулся, сверг самодержавие и снес стены, ограждавшие частную собственность дворянства. «Черный передел» является одной из наиболее характерных черт русской истории.

В Центральной и Западной Европе растущая плотность населения медленно, но верно приводила к концентрации людей в том или ином месте. Крестьянин привыкал вкладывать в свой участок земли труд и капитал. Соответствующим образом росла и способность территории прокормить все большее количество людей. Развитие городов и промышленности сильно способствовало этой тенденции, создавая спрос на продукцию сельского хозяйства.

Напротив, Россия оставалась страной экстенсивного земледелия.

Когда о России говорили как о колоссе на глиняных ногах, то вольно или невольно имели в виду, что грандиозная надстройка Русского государства находилась в пугающем противоречии со своим примитивным экономическим базисом.

Стоимость содержания этой надстройки была несопоставима с национальным доходом<sup>1</sup>. Бремя налогов, добавлявшееся к другим видам частной эксплуатации, мешало накоплению капитала в крестьянской экономике, а без такого накопления внедрение новой агротехники и применение более совершенной организации труда было невозможно. Распространение колонизации на Восток усиливало тенденцию к экстенсивному, а не к интенсивному ведению сельского хозяйства. Огромные открытые пространства позволяли легко решить проблему роста народонаселения. Но это явление

долго мешало государству понять, что необходимо переходить к интенсификации сельскохозяйственного производства, поскольку невозможно брать у деревни до бесконечности, никак не компенсируя причиненный ей ущерб.

Понимание того, что на отсталой деревне лежит тяжелое бремя не только государственной надстройки, но и лихорадочно развивавшейся капиталистической промышленности, финансируемой правительством, а также страх, что крестьянство поймет это и сделает опасные политические выводы, заставляло власть намеренно сохранять невежество, безграмотность и культурную отсталость села, где единственной отдушиной для трудящегося крестьянина был кабак, который благодаря государственной монополии на спиртные напитки являлся еще одним способом опустошения мужицкого кармана.

Все пути перехода к более высокому уровню производства были для деревни закрыты. Нараставшее истощение почв во многих черноземных губерниях заставляло людей забрасывать свои участки.

Вековая любовь крестьянина к земле становилась все более безнадежной. Он не переставал любить землю и жаждать ее всей душой. Но этой землей был не его жалкий участок. Мужика как магнитом тянула земля помещицья, которую, по воспоминаниям его отца и деда, отобрали у крестьян и передали помещику после отмены крепостного права. Крестьяне чувствовали эту несправедливость почти физически. «Мы ваши, но земля наша», — говорили они дворянам. Деревня отказывалась отделять право на землю от права на крестьянский труд; это неразрывное единство существовало при крепостном праве и могло быть похоронено вместе с крестьянством.

После того как крестьяне разделили общинные земли либо по числу работников, либо по числу едоков, идея устранить несправедливость, выразившуюся в помещичьем землевладении, становилась все более и более определенной. Крестьяне требовали передела земли. Всю страну следовало превратить в одну огромную общину с равными правами на землю только для тех, кто поливал ее своим потом.

К одержимости свободой добавлялась одержимость разделения земельной собственности. Лучшее будущее крестьянин

представлял себе не как результат технического развития и повышения продуктивности. Проблема продуктивности казалась мелочью по сравнению с проблемой равного распределения земли. От этого решения ждали чуда: люди считали его магическим средством достижения крестьянского счастья и процветания.

Революция привлекла деревню на свою сторону двойным лозунгом: «Земля и свобода». Этот лозунг сам по себе не был социалистическим и стал им лишь потому, что социалистическая партия (партия социалистов-революционеров) решительно насаждала его до тех пор, пока он не овладел всеми мыслями и надеждами деревни.

Но пробудили сознательность крестьянства не только недоение, бедность и нищенское удовлетворение его нужд. Нужды — понятие относительное. Мизерность нужд характерна для низкого культурного уровня. Счастье дикаря заключается в отсутствии всяких нужд. Подлинная движущая сила социальных движений — это не столько неудовлетворенность низким уровнем жизни и прямой эксплуатацией, сколько степень социальных контрастов, поражающая воображение масс. Атмосфера революции была создана не столько пониманием материальных и экономических классовых интересов, сколько иррациональным ощущением, что дальше так жить нельзя. Революция казалась массам карающей рукой беспристрастного языческого божества мести и справедливости, метнувшей гром и молнию в головы земных врагов человечества; теперь это божество поведет униженных и оскорбленных в рай, а угнетателей и насильников отправит в геенну огненную.

В этом свете легко понять чувство одиночества и беспомощности, парализовавшее землевладельцев.

Безбрежная евразийская степь была равниной не только в географическом смысле слова. Ее необычный классовый состав тоже напоминал степь.

«Вместо высокого, узкого, многоэтажного, сложного классового здания западноевропейского стиля перед нами предстает странная пирамида с низким, широким и разлапистым основанием в виде крестьянства, над которым расположены тонкие слои среднего и высшего классов, а на самом верху нахо-

дится высокий и громоздкий купол самодержавия» (К. Кочаровский).

Падение этого купола должно было неминуемо увлечь за собой и средние слои. «Социальная степь» угрожала поглотить все, что возвышалось над ее уровнем. Во время революции был момент, когда даже промышленный пролетариат, который возвышался, по крайней мере, над социальной степью аграрной России, начал бежать с затихших, парализованных фабрик в деревню, чтобы снова стать крестьянством.

В степи ничто не мешает бушевать выюгам и бурям.

Буря революции раскрыла истинный «цвет и вкус» души русского народа, всю ее силу и слабость, как лучшие черты национального характера, так и его дикие страсти и пороки, порожденные историей.

Тот, кто идеализирует революцию, видит только половину правды. Глашатаи революционного максимализма с радостью отдают дань уважения иррациональному фактору революции, «тому неизвестному, которое не в состоянии высчитать ни один счетовод, взвесить ни один политический аптекарь и проанализировать ни один политический химик». Революция привлекает их необузданной игрой страстей, которая превращает здравомыслящих людей в безумцев и делает безумие хозяином духа. Эти романтики чувствовали в народном духе брожение, дыхание «гения революции». Последнего достаточно, чтобы привести толпу в состояние «революционного экстаза», распространяющееся как эпидемия, а все остальное «утрясется само собой». Это очень опасная концепция; дальше начинается «предательский уклон», который ведет прямоком к безудержной демагогии.

Во время первой русской революции 1905 г. максималисты красноречиво описывали, как в атмосфере революции возрастает впечатлительность масс, с какой скоростью распространяются в толпе новые чувства и стремления, как в ней рождается непривычная и оттого еще более опьяняющая вера в собственную силу, толкающая ее на дерзкие подвиги. Старый лозунг Дантона «Дерзость, дерзость и еще раз дерзость» всегда воскресает во время конвульсивных содроганий народного организма. Те, кто следует ему, отчасти правы. Массы,

оторванные от рутины повседневного существования, потрясенные шумом событий, охотно впитывают в себя новое учение. Чем меньше тонкостей и ограничений в этом учении, чем проще, категоричнее и прямее его призывы, тем жаднее они его пьют. Именно в этом заключается один из секретов успеха большевиков. Массы хотят, чтобы некий «научный авторитет» пусть не слишком понятно, но впечатляюще вдруг объяснил им их собственные неосознанные интересы, смутные чувства и стремления. Внезапно у них возникает фанатичная и гипнотическая вера в эти формулы. Именно эта вера позволяет достичь ближайших целей революции — естественно, отрицательных. Но у революции есть и положительные цели. А качества, которые требуются для их достижения, не рождаются в результате революционного урагана.

Творческие силы, привычка к организации, способность к экономическому самоуправлению, к ответственному руководству производством, к перестройке экономики не зависят от взрыва эмоций. Их начинают ценить тогда, когда революция осознает необходимость полностью решить свои задачи. Они развиваются в «органические», а не в «критические» моменты истории. Этот капитал накапливается медленно. «Восприимчивость», «впечатлительность», «глубина чувств», «электрические заряды силы воли» оказывают на них очень небольшое влияние, причем далеко не всегда положительное. Когда рабочий класс дорастает до понимания своей особой исторической «миссии», он строит свою коллективную жизнь совсем по-другому. Его классовые организации становятся не только оружием защиты и нападения, укрепленным лагерем, траншеями и бастионами. Нет, он видит в них нечто большее: зародыш нового экономического порядка. Вокруг классовых организаций возникают все виды институтов, которые разрабатывают новый стиль жизни, новое рабочее законодательство, новую культуру рабочего класса. Именно этим определяется значение новой тенденции в рабочем движении, требующей приоритета созидательных задач над разрушительными.

В России зародыш нового порядка еще не созрел, но отращивание к старому порядку уже достигло предела.

Это объясняется особенностями русской истории.

К тому времени, когда Россия добралась до революции, большинство европейских стран уже миновало эту стадию. Эти революции были разными по содержанию и исторической функции. Их большинство было, если так можно выразиться, «революциями одного элемента»: революция против церкви, или Реформация; крестьянская, аграрная, антифеодалная революция вроде восстания Уота Тайлера в Англии, Жакерии во Франции, Крестьянской войны в Германии, пугачевского бунта в России; буржуазная антифеодалная революция третьего сословия во Франции; демократическая революция, приносящая политическое освобождение от самодержавия; антибуржуазная, антикапиталистическая революция вроде восстания парижского пролетариата в 1848 г. или Парижской коммуны.

Великая французская революция стоит особняком как революция универсального типа, одновременно антимонархическая, антиклерикальная, антифеодалная, буржуазная и аграрно-крестьянская, с зародышем пролетарского восстания, выразившимся в «заговоре равных» Бабёфа.

Этот универсальный характер был в еще большей степени присущ Великой русской революции.

Потенциальные революционные силы и страсти, не нашедшие выхода в достижениях частных революций, громоздились друг на друга. Все нерешенные проблемы, сложные и запутанные, угодили в одну кучу со всеми формами зла, катастроф, угнетения и эксплуатации.

Дореволюционная история страны закончилась, когда конфликт между свободой и тиранией достиг своего пика. Власть пыталась защитить прежние привилегии и монополии. После этого под знамя свободы собрались все униженные, оскорбленные, угнетенные и эксплуатируемые.

Небывалая доселе концентрация антагонистических сил вскормила и довела до прямого столкновения два максимализма абсолютно противоположных социальных и политических чувств: максимализм правых и максимализм левых.

Они выросли на почве, подготовленной всей предыдущей историей, и сделали свое дело.

<sup>1</sup> В очень ценной работе В.И. Покровского «К вопросу об успехах активного баланса русской внешней торговли» говорится, что в 1894 г. национальный доход на душу населения составлял в России 73 рубля в год. В «Промышленности и благосостоянии народов» Малхолла (1896) этот доход оценивался в 74 рубля, в то время как в Германии он составлял 184, во Франции — 233, в Великобритании — 273, в Соединенных Штатах — 346, а в Австралии — 374 рубля в год.